

А.С.Пушкина окказиональный топоним **Петрополь** (компаративная дериватема с финальным элементом греческого происхождения) создан поэтом по модели второго компонента официального названия столицы - Санкт-Петербург. Данное прецедентное имя обладает аксиологическим значением для автора как языковой личности и связано, вероятно, с особыми индивидуальными представлениями поэта о феноменах окружающего мира.

Обращение в поэтическом тексте к прецедентным феноменам связано не только с желанием отойти от языкового стандарта и не просто ориентировано на стереотипную коммуникацию. Каждое прецедентное имя репрезентирует особенности мышления, неординарное мировосприятие А.С. Пушкина, глубинные свойства языковой личности поэта, его творческого гения.

1. Гудков Д.Б. Теория и практика межкультурной коммуникации. - М., 2003.
2. Караулов Ю.Н. Текстовые преобразования в ассоциативных экспериментах //Язык: Система и функционирование. - М., 1988.
3. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М., 1987.
4. Бонди С. Поэмы Пушкина //А.С.Пушкин. Собрание соч.: В 10 т.– М., 1975. — Т.3.
5. Пушкин А.С. Граф Нулин //А.С.Пушкин. Собрание соч.: В 10 т. – М., 1975. – Т.3.

«ОТРЫВКИ СЕВЕРНЫХ ПОЭМ...»

В.А.Кошелев

(доктор филологических наук, профессор,

Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого, Россия)

Статья посвящена авторській інтерпретації пушкінознавчої "Легенди про вірші Ленського".

The article is devoted to the author's interpretation of Pushkin studies of "The Legends about Poems by Lenskiy".

«Легенда о стихах Ленского» принадлежит к числу хрестоматийных пушкиноведческих «легенд». П.В.Анненков, на правах «первого пушкиниста» и первого исследователя пушкинских черновых рукописей, обнаружил в «первой масонской» тетради (ПД 834, лл.29-30) два черновых наброска стихотворений, написанных александрийским стихом и касавшихся темы посмертного бытия человека. В одном – «Надеждой сладостной младенчески дыша...» - Пушкин проецировал эту тему на лирическое я; в другом – «Придет ужасный час... твои небесны очи...» — на образ «милрой».

Внимание «первого пушкиниста» привлекло то место в «первой масонской» тетради, которое занимали эти наброски. Они «разрывали» черновые рукописи второй главы «Онегина» – как раз в том месте (XVI-я строфа), где автор повествовал о *спорах* Онегина и Ленского. Сначала на л.29 ПД 834 Пушкин набросал следующий текст:

*В прогулке их уединенной
О чем не начинали(?) спор
В составе вселенной
На что ни обращали взор
И предрассудки вековые
И жизни тайны роковые
И тайный гроб в свою чреду
Всё подвергалось их суду (VI, 278).*

Далее на том же листе идет текст «стихотворения Ленского», как будто прямо связанный и с «жизни тайнами роковыми», и с «предрассудками», и с «тайным гробом»:

Придет ужасный (час)... твои небесны очи

*Покроются, мой друг, туманом вечной ночи,
Молчанье вечное сомкнет твои уста,
Ты навсегда сойдешь в те мрачные места,
Где прадедов твоих почуют моги хладны.
Но я, дотоле твой поклонник безот<радный>,
В обитель скорбную сойду (я) за тобой,
И сяду близ тебя, печальный и немой,
У милых ног твоих – себе их на колена
Сложу – и буду ждать (печально)... (но чего?)
Чтоб силою мечтанья моего (II, 296)*

На обороте того же 29-го листа Пушкин заново начинает ту же XVI-ю строфу:

*Меж ими всё рождало споры
И к разм<ышлению> влекло –
Племен забытых договоры
Наук, ума добро и зло
И предрассудки вековые
И мира тайны роковые
И жизнь и гроб в свою чреду
Всё подвергалось их суду
Поэт (в жару) своих суждений
Читал забывшись между тем
Отрывки северных поэм
И снисходительный Евгений
Хоть их не много <понимал>
Прилежно юноше внимал (VI, 278-279).*

А находящийся рядом 30-й лист занят черновиком другого «стихотворения Ленского», опять-таки прямо связанного и с «мира тайнами роковыми», и с «жизнью», и с «гробом»:

*Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
От тленья убежав, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пустыни бесконечны, –
Клянусь! давно бы я оставил этот мир:
Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир,
И улетел в страну свободы, наслаждений,
В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений,
Где мысль одна плывет в небесной чистоте...
Но тщетно предаюсь обманчивой мечте;
Мой ум упорствует, надежду презирает...
Ничтожество меня за гробом ожидает...
Как, ничего! Ни мысль, ни первая любовь!
Мне страшно!.. И на жизнь гляжу печален вновь,
И долго жить хочу, чтоб долго образ милый
Таился и пылал в душе моей унылой (II, 295).*

П.В.Анненков, впервые по рукописи опубликовавший эти наброски, посчитал их *стихотворениями Ленского*, – теми самыми «отрывками северных поэм», которые тот читал Онегину. «Оба отрывка, – комментировал Анненков, – не что иное, как шуточное подражание Макферсону, роду поэзии, к какому особенно склонна была муза Ленского, по мнению Пушкина. Они, разумеется, не дописаны, лишены во многих местах необходимых стоп и походят скорее на заметку в стихотворной форме, чем на стихотворения». И далее: «Оба отрывка содержат, как видно, пародию на тяжелые шестистопные элегии, бывшие некогда в моде, и вместе лукавую насмешку над туманными произведениями Ленского. Замечательно, однако ж, что точно в таком же духе есть несколько лицейских стихотворений самого

Пушкина, так что он мог набросать свои отрывки по одному воспоминанию. Читатель, вероятно, уже заметил, что наш поэт сообщил отрывкам Ленского, полагаем – не без намерения, искру чувства и души и тем отличил их от подражаний другого рода, столь же тяжелых и притом лишенных уже всякой теплоты, от подражаний анакреонтических, какие являлись у нас вместе с Оссиановскими элегиями и какими также обнаружилась впервые авторская деятельность самого Пушкина».

Показательно и «удивление» «первого пушкиниста»: «Не без удивления видим мы вместе с тем, что Пушкин гораздо позднее возвратился к стихам Ленского и взял от них отчасти мысль, которая является в знаменитой пьесе «Безумных лет угасшее веселье...»:

*Но не хочу, о други, умирать,
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать,* -

но уже какое необъятное пространство лежит между первым опытом Ленского и последней формой, данной его мысли Пушкиным в 1830 году» (1, 298-299).

Идея Анненкова о том, что интересующие нас наброски являются «стихами Ленского», была поддержана пушкинистами в XIX столетии: во всяком случае, во многих изданиях пушкинских сочинений они печатались среди черновиков «Онегина» (см.: 2, 42-67). Анненков сделал свой вывод, опираясь, помимо положения набросков в рукописях, на тематическую связь с содержанием «споров» Ленского с Онегиным. Указание Пушкина на «северные поэмы» определило и найденное биографом соответствие этих фрагментов «оссианической» традиции, с которой они, между тем, имеют мало общего (даже и с лицейскими «оссианическими» элегиями Пушкина, вроде «Осгара» и «Кольны») (см.: 3, 96-99). Наконец, настойчивое подчеркивание биографом Пушкина пародийного характера отрывков объяснялось боязнью цензуры и стремлением отвести от поэта подозрения в безверии – по этому поводу Анненков даже имел «любопытную тяжбу» (см.: 4, 406-407).

Эти построения «первого пушкиниста», однако, были опровергнуты ещё при его жизни. В 1880 г. М.В. Юзефович опубликовал воспоминания о своих встречах с Пушкиным на Кавказе в 1829 г. Один из эпизодов этих воспоминаний был о том, как отыскал в «походном чемодане» поэта его черновые рукописи – в их числе и «первую масонскую» тетрадь: «Там же мы нашли неизвестную еще тогда прекрасную элегию «Надеждой сладостной младенчески дыша...», которую Анненков, не знаю почему, принял за стихотворение, предназначавшееся для Онегина, как написанное Ленским. Но размер элегии нисколько не подходит к строфам Онегина; да и Пушкин, вероятно, указал бы нам на такое ее назначение, так как он объяснял нам довольно подробно всё, что входило в первоначальный его замысел...» (5, 119). Как видим, мемуарист (между прочим, исключительно точный и даже дотошный в своих воспоминаниях) опроверг созданную Анненковым «легенду» авторитетом самого автора «Онегина»!

Вместе с тем, и Анненков ведь эту «легенду» не просто так придумал. Отнесение приведенных выше набросков к «стихам Ленского» всё же имело под собой – хотя бы косвенные – основания. На том же л.29 об. ПД 834, который находится между этими набросками, Пушкин, написав строфу XVI второй главы, набросал продолжение, не вошедшее в окончательный текст романа в стихах. Продолжение это как раз касалось русских поэтов:

*От важных исходя предметов,
Касался часто разговор
И русских иногда поэтов
Со вздохом и потупя взор
Владимир слушал, как Евгений
(Венчанных наших сочинений)
(Парнас) (достойных) (похвал)
(Немилосердно) поражал (VI, 279)*

Следовательно, «отрывки северных поэм», читаемые Ленским, находились вполне в традициях русского стихотворства. Обращение поэта к «вечным» темам: жизнь и смерть, «тайны вечности и гроба», вера и неверие и т.д. – предполагает наличие некоторой житейской

опытности. Тот поэт, который «пел поблекшей жизни цвет без малого в осьмнадцать лет», не может претендовать на *серьезность* восприятия его мыслей о бессмертии человеческой души. Пушкин писал интересующие нас наброски как раз в то время, когда «конструировал» типологические особенности личности «поэта неведомого, но милого» – поэта, еще не сформировавшегося. Такого поэта с равным успехом может ожидать «обыкновенный удел» – и удел «необыкновенный»: не исключена его участь погибнуть «в ссылке, как Наполеон, или быть повешен, как Рылеев» (см.: 6, 52-75). Он еще «не раскрыт», – и его стихи именно и воспринимаются как намеки на германскую «туманность». Именно в качестве таковых могут быть (и были!) восприняты пушкинские наброски, созданные в Одессе, где-то между 22 октября и 3 ноября 1823 г.

Исследователи уже давно указали, что оба эти фрагмента тематически связаны с неоконченной поэмой «Таврида», над которой Пушкин работал в 1822 г. в Кишиневе (см.: 7, 123-124; 8, 158-164). Поэтическая мысль в них, как и в ранней поэме, вращается вокруг темы смерти и бессмертия. Но если в «Тавриде» возникала картина поэтического «Элизия», ожидающего человека после смерти, то в данном случае предлагаемый вариант решения намеченной темы оказывается абсолютно пессимистичен: поэт не видит никакого «выхода» из того «ничтожества», которое ожидает «за гробом». «Иное» бытие рисуется романтику как «страна свободы, наслаждений» – но разум подсказывает: не будет *ничего*. И от этого делается «страшно» – и, соответственно, усиливается желание жить, чтобы хранить в душе образ любимой...

В наброске «Придет ужасный час – твои небесны очи...» речь идет о невозможности сохранить в загробной жизни земные чувства, – это обесмысливает само учение о бессмертии души. Можно ждать рядом с телом умершей возлюбленной – «но чего?..» На этот вопрос ни один Божественный глагол ответа не дает – и набросок обрывается.

Показательно биографическое обстоятельство, с этими текстами связанное.

Приблизительно через полгода после их написания в Одессе было перлюстрировано письмо Пушкина (вероятно, к П.А.Вяземскому), которое подало повод для обвинений поэта в «афеизме», после чего последовала его ссылка в родовое имение. Мысли, выраженные в «крамольном» отрывке из письма, неожиданно близки тем, которые выражались в приведенных выше стихотворных фрагментах: «Ты хочешь знать, что я делаю – пишу пестрые строфы романтической поэмы – и беру уроки чистого афеизма. Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил. Он исписал листов 1000, чтобы доказать, qu'il ne peut exister d'être intelligent Créateur et régulateur (что не может быть существа разумного, Творца и правителя – франц.), мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но к несчастью более всего правдоподобная» (XIII, 92).

Уроки ученого англичанина (доктора Гунчисона) пришлись на мучившие сознание Пушкина «атеистические» раздумья: уже в первом из приведенных выше набросков упование на «надежду сладостную» умеряется отсутствием «веры»... Рациональное обоснование невозможности бессмертия души, противопоставленное прежде всего учению о «естественной религии» Ж.Ж. Руссо, пришлось, если судить по наброскам, сделанным Пушкиным за полгода до этого, на уже подготовленную почву.

В них действительно много «от Ленского». Обращаясь к теме бессмертия, освященной традицией предромантической лирики («К надежде» Жуковского, «Надежда» Батюшкова и т.д.), Пушкин пытается пересмотреть эту традицию. В самом деле, первый из приведенных набросков начинается противопоставлением христианских категорий *Надежды* и *Веры*:

*Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я...*

И ниже:

Мой ум упорствует, надежду презирает...

Между тем стихотворение «Надежда» (1815), открывавшее стихотворный том «Опытов...» Батюшкова, начиналось призывом:

Мой дух, доверенность к Творцу!.. (165)

А в элегии «К другу» (1815) конструировалась идея неразрывности двух опорных философских категорий христианства:

*И Вера пролила спасительный елея
В лампаду чистья Надежды (201).*

Пушкин упорно «разводил» эти категории. Показательна его помета на батюшковских «Опытах...» рядом с заглавием стихотворения «Надежда»: «Точнее бы *Вера*» (XII, 257). Примерно в то же время, когда делались эти пометы, писались и приведенные выше наброски. Пушкинская романтическая философия смерти строилась в них отнюдь не на религиозных основаниях, как у Батюшкова, а была открыто полемична по отношению к такому типу мирозерцания. Это, как ни странно, демонстрировало не только «чистый афеизм» пушкинского мировосприятия, но и его поэтическую «неопределенность», незрелость. Именно поэтому «отрывки северных поэм» Ленского остались незавершенными: Пушкин никогда больше не пробовал ни «отделывать», ни тем более публиковать их.

Он, в общем, когда говорил о поэзии Ленского, имел в виду произведения примерно такого же характера. Что мы об этой поэзии знаем? Пушкин, рассуждая о Ленском-поэте, не приводит образчиков его поэтического творчества (если не считать предсмертного стихотворения «Куда, куда вы удалились...» – строфы XXI-XXII шестой главы, – о нем речь впереди), но довольно много рассуждает о его «элегиях» и иных творческих достижениях. Чаще всего автор пытается иронически определить жанр и проблематику творений «юноши-поэта».

В окончательной редакции Ленский, «забывшись», читал Онегину «отрывки северных поэм» (VI, 38); первоначально было: «отрывки длинные стихов», «отрывки из своих баллад» (VI, 279). Указание на «северные поэмы» вовсе не означает, что Ленский читал какие-то «песни Севера»: например, «Песни Оссиана» («знаменитую подделку Макферсона», как их назвал В.Набоков (9, 240-242). Согласно распространенной в начале XIX столетия бинарной оппозиции «Север – Юг», Россия считалась «Севером», и эпитет «северный» в данном случае означал, что Ленский писал свои стихи на русском языке (см.: 10, 278-281). Здесь, вероятно, для Пушкина было важно указание на жанр *отрывка* – фрагмента из чего-то большого и цельного («поэмы»), имеющего смысл и в имманентной форме. Существование «отрывка из поэмы» между тем ещё не означало реальности существования самой «поэмы»: работа над нею могла и закончиться на стадии «отрывков»...

В начале третьей главы Онегин называет высказывание Ленского *эклогой* (VI, 51) – это жанровое определение, кажется, имеет прямое отношение и к поэтическому творчеству Ленского. Эклога – это, наряду с идиллией, жанр буколической поэзии: большое стихотворение с описанием мирной жизни лирически условных «пастушков», их простого быта, нежной любви и «свирельных» песен. В эклоге, в отличие от идиллии, больше действия, диалога и соответственного «противостояния». Собственно, вся поэзия Ленского нуждается в «противостоящем» голосе оппонента, которому можно было бы противопоставить «пасторальную болтовню» (9, 285).

В четвертой главе в ироническом отступлении о поэзии Ленского автор специально подчеркивает, что тот пишет «не *мадригалы*» (VI, 86) и *не оды* («Владимир и писал бы оды, / Да Ольга не читала их» – VI, 87). Сочинения его он именуется «элегиями» («И полны истины живой / Текут элегии рекой»), но это наименование вполне условно, потому что стихи Ленского тут же сопоставляются с пародийными «элегиями» «Языкова вдохновенного»: известными Пушкину виршами откровенно непристойного содержания (см.: 11, 229-259). Кроме того, «элегия» – это жанр, ставший в пушкинские времена весьма условным и утратившим былую отчетливость «жалобной песни». Наименование «элегия» выступает лишь как знак традиции. Те образчики, которые Ленский читает своей Ольге, – это, по существу, те же *эклоги*, предполагающие противопоставление своего поэтического голоса голосу воображенного оппонента:

*Случалось ли поэтам слезным
Читать в глаза своим любезным*

*Свои творенья? Говорят,
Что в мире выше нет наград... (VI, 88)*

Эти эклоги, правда, оказываются наполнены весьма специфическим содержанием, связанным с проблемами бессмертия души, соединения и «родства» душ, решенных в очень абстрактном поэтическом виде. Исходный поэтический поиск в этом случае — поиск «смысла жизни» человека: «Цель жизни нашей для него / Была заманчивой загадкой» (VI, 34). При этом «цель жизни» ищется для «человека вообще», — в идеале для того же лирически условного «папушка»: «Он верил, что душа родная / Соединиться с ним должна, / Что безотрадно изнывая, / Его вседневно ждет она...» (VI, 34). Из этой веры вполне естественно вытекало знаменитое:

*Он пел поблеклый жизни цвет
Без малого в осьмнадцать лет (VI, 35).*

Показательно, что «отрывки северных поэм» упомянуты рядом с тематикой «споров» Онегина и Ленского — споров, столь же абстрактных и «высоких», как и сами интересующие нас поэтические «отрывки». Если начальные перечисленные в XVI строфе второй главы предметы «споров» («Племен минувших договоры, / Плоды наук, добро и зло...») восходили к французским просветителям, в частности, к трактатам Руссо «Об общественном договоре» и «Способствовало ли возрождение наук и искусств улучшению нравов», то последующие «важные предметы» («И предрассудки вековые, / И гроба тайны роковые, / Судьба и жизнь...») оказывались чересчур «отвлеченны» даже по сравнению с умозрительными построениями философов XVIII столетия. «Спор» на подобные темы, как указал еще Д.И.Писарев, «может происходить только насчет бессмертия души». И далее: «Как бы мягко и осторожно Онегин ни выражался, во всяком случае, уже тот факт, что он ставил знак вопросительный там, где Ленский ставил точку или знак восклицательный, — один этот факт, говорю я, должен был произвести на несчастного поэта гораздо более потрясающее впечатление, чем всевозможные охладительные слова» (12, 323). Как ответ на эти «вопросительные знаки» Онегина и возникали «отрывки северных поэм» его приятеля.

Рассуждения такого рода более всего были пригодны для излюбленного Ленским жанра «эклоги». Они должны были представлять собою пространные дидактические рассуждения на «опасные» в цензурном отношении темы. И, между прочим, вполне походили на те «образчики», которые представил Пушкин в рабочей тетради ПД 834 непосредственно в процессе работы над строфой о «спорах» Ленского и Онегина.

Содержательную сторону ранних «эклог» Ленского особенным образом отражает его последнее стихотворение, полностью приведенное в романе («Стихи на случай сохранились...» (VI, 125), — то есть «случайно», в отличие, например, от письма Татьяны, которое «свято бережет» автор (VI, 65) и одновременно «хранит» Онегин (VI, 174)). Эти «стихи на случай» несколько странны по характеру. С одной стороны, последнее стихотворение Ленского «имеет насквозь цитатный характер, распадаясь на знакомые читателю штампы и обороты» (Ю.М.Лотман приводит множество таких параллелей к «штампам» Ленского из русской «допушкинской» поэзии; В. Набоков — из поэзии западной (13, 296-300; 9, 448-453). С другой стороны, это, в целом пародийное, стихотворение оказывается вдруг способно обрести вполне серьезное и даже трагическое музыкальное осмысление, ставши знаменитой арией в опере П.И. Чайковского.

Пушкин очень основательно «подготавливает» восприятие этих стихов, хотя при этом изначально указывает, что они «полны любовной чепухи» (VI, 125). «Любовная чепуха», естественно, направлена на Ольгу, — как и в прежних его «эклогах»: «Что ни заметит, ни услышит / Об Ольге, он про то и пишет...» (VI, 86). Но в данном случае особый ответ на личность возлюбленной кладет то обстоятельство, что Ленский «видит Ольгу пред собой» в последний раз. И даже неожиданное сравнение с «Дельвигом пьяным на пиру», читающим только что сочиненные экспромты, становится еще одним свидетельством искренности и *подлинности* стихов Ленского, — как искренни и подлинны были поэтические импровизации одного из самых верных пушкинских друзей.

Стихотворение Ленского начинается клишированными «штампами и оборотами», – но продолжается нетривиальной идеей, прямо связанной с тем, что совершится с биографическим поэтом «заутра»: «Паду ли я стрелой пронзенный, / Иль мимо пролетит она, / *Всё благо...*» (VI, 125-126). Оба из возможных исходов грядущего поединка представляются «благом» – в каждом из них видится нечто хорошее. Но что ж хорошего, если «быть может, я гробницы / Сойду в таинственную сень»? И далее, как водится, «юного поэта / Поглотит медленная Лета, / Забудет мир меня...»?

Традиционно *хорошее* связано для сочинителя этих любовных стихов – с его кумиром, – той же Ольгой, «девой красоты», которая, в отличие от «забывчивого» мира, придет на поэтическую могилу «слезу пролить над ранней урной». Придет – и обеспечит тем утешение «желанному другу»...

Впрочем, уже в произведениях тех поэтов, которым Ленский подражал и стихотворными штампами которых пользовался, рисовался совсем иной исход из этой трагической ситуации. Так, например, в элегии Ш.Ю. Мильвуа «Листопад», подражания которой писали К.Н.Батюшков («Последняя весна», 1815) и М.В.Милонов («Падение листьев», 1819), возникал совсем иной исход:

*И дружба слёз не уронила
На прах любимца своего
И Делия не посетила
Пустынный памятник его... (14, 189)*

Такой исход, совершенно не соответствовавший упованиям погибшего поэта, диктовался, однако, логикой поведения обыкновенных, не причастных буколической поэзии людей. Поэтому мотив забвения «в таинственной сени гробницы» подкреплялся у Пушкина той же символической «буколической картинкой», изображающей «пастыря» (или «пастуха»), что раньше появлялась у Батюшкова:

У Батюшкова:

*Лишь пастырь в тихий час денницы,
Как в поле стадо выгонял,
Унылой песнью возмущал
Молчанье мертвое гробницы.*

У Пушкина:

*Но ныне... памятник унылый
Забьт. К нему привычный след
Заглох. Венка на ветви нет;
Один под ним, седой и хилый,
Пастух по-прежнему поет
И обувь бедную плетет (VI, 142).*

Своеобразным апогеем «забвения» становилась сцена из черновой редакции седьмой главы, когда «дева красоты» появилась возле могилы влюбленного в нее поэта вместе с его соперником – «младым уланом» (VI, 419-420). И далее:

*Мой бедный Ленской! – за могилой
В пределах вечности глухой
Услышал ли твой дух унылый
Обет изменницы земной
Или за Летой усыпленный
Поэт забвением блаженный,
Уж не смущается ничем
И мир ему закрыт и нем.
По крайней мере из могилы
Не вышла в сей печальный день
Его ревнующая Тень
И в поздний час, Гимену милый,*

*Не испугала молодых
Среди явлений гробовых (VI, 422).*

Пушкин здесь демонстрирует несостоятельность основной лирической идеи последних стихов Ленского: о победе любви над смертью и о том, что бессмертная душа и за гробом сохраняет «память милой». Поэтический оптимизм в этом случае не блистал особенной глубиной и оригинальностью – на что, собственно, Пушкин прямо указал, представляя последние стихи Ленского, сохранившиеся «на случай». Сам Пушкин готов определять «смерть» и «любовь» как две параллельные данности, которые не всегда могут «пересечься».

Увлечения «тайнами вечности и гроба», которые волнуют Ленского, не миновал в своем художественном развитии и Пушкин: замысел описательной поэмы «Таврида», относившийся к 1822 году, был, по существу, вариацией некоей «эклоги» на тему о бессмертии души и грядущем «Элизии» (см.: 7, 97-24). Позднее, в 1825 г., некоторые из стихов «Тавриды» составили небольшую элегию «Люблю ваш сумрак неизвестный...», в которой та же идея рассматривалась применительно к лирическому «я» и решалась иначе, чем в «Тавриде». Но Пушкину необходимо было «избыть» (поэтически пережить и переосмыслить) эту романтическую тему посмертного небытия – и он «спроецировал» ее на «чужое» поэтическое слово: на стихи созданного им «юного поэта». Так сформировалась «пушкинская» тематика поэзии Ленского: «Чувствительность бывала в моде / И в нашей северной природе...» (VI, 411)

Когда Пушкин создавал облик романтического *поэта*, он попробовал воссоздать его через стихи, посвященные «заветной» теме – этим и объясняется неожиданное появление среди черновигов второй главы «Онегина» в тетради ПД 834 двух приведенных выше и никуда не использованных Пушкиным набросков. Кстати говоря, это единственный случай «перебивки» строф «Онегина» совсем другим по размеру и тематике стихотворным текстом, встречающийся в этой рабочей тетради.

Иными словами, у П.В.Анненкова, истолковавшего (как показал Ю.Г.Оксман, еще и из цензурных соображений (см.: 2, 42-67) эти пушкинские наброски как «элегию Ленского», были для этого яркие содержательные основания: совсем отменить эту «легенду», кажется, не следует.

Через месяц с небольшим после гибели Пушкина один из его ближайших московских литературных приятелей М.П. Погодин говорил в доме Аксаковых о Пушкине. И записал в дневнике: «Удачно сказал я о Пушкине, что он хотел казаться Онегиным, а был Ленским. Какая драма его жизнь!» (5, 35)

Кажется, что и у Погодина для такого сопоставления тоже были основания.

1. Анненков П.В. Материалы для биографии А.С. Пушкина. - М., 1984.
2. Оксман Ю.Г. Легенда о стихах Ленского (Из разысканий в области пушкинского печатного текста) //Пушкин и его современники. - Вып. XXXVII. - Л., 1928.
3. Левин Ю.Д. Оссиан в русской литературе. - Л., 1980.
4. Анненков П.В. Любопытная тяжба //П.В.Анненков и его друзья: Литературные воспоминания и переписка 1835-1885 годов. - СПб., 1892. - Т.1.
5. А.С.Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. - М., 1985. - Т.2.
6. Кошелев В.А. «Онегина» воздушная громада... - СПб., 1999.
7. Томашевский Б.В. «Таврида» Пушкина //Учен. зап. ЛГУ. № 122. Сер. филолог. наук. - Вып.16. - 1949.
8. Кибальник С.А. Художественная философия Пушкина. - СПб., 1999.
9. Набоков В. Комментарий к роману А.С.Пушкина «Евгений Онегин». - СПб., 1998.
10. Кошелев В.А. Пушкин: История и предание. - СПб., 2000.
11. Проскурин О. Литературные скандалы пушкинской эпохи. - М., 2000.
12. Писарев Д.И. Соч.: В 4 т. - М., 1956. - Т.3.
13. Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. - Л., 1980.
14. Батюшков К.Н. Соч.: В 2 т. - М., 1989. - Т.1.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

**Науковий вісник
Ізмаїльського державного
гуманітарного університету**

Збірник наукових праць

Спецвипуск

18



Ізмаїл - 2005